

Глава III. Взаимная помощь среди дикарей

- Предполагаемая война каждого против всех.
- Родовое происхождение человеческого общества.
- Позднее появление отдельной семьи.
- Бушмены и Готтентоты.
- Австралийцы, Папуасы.
- Эскимосы, Алеуты.
- Черты жизни дикарей, с затруднением принимаемые европейцами.
- Понятие о справедливости у Даяков.
- Обычное право.

Громадную роль, которую играет взаимная помощь и взаимная поддержка в эволюции животного мира, мы бегло рассмотрели в предыдущих двух главах. Теперь нам предстоит бросить взгляд на роль, которую те же факторы играли в эволюции человечества. Мы видели, как незначительно число животных видов, ведущих одинокую жизнь, и как, напротив того, бесчисленно количество тех видов, которые живут сообществами, объединяясь в целях взаимной защиты, или для охоты и накопления запасов пищи, ради воспитания потомства, или — просто для наслаждения жизнью сообща. Мы видели также, что, хотя между различными классами животных, различными видами или даже различными группами того же вида, происходит немало борьбы, но, вообще говоря, в пределах группы и вида господствуют мир и взаимная поддержка; причём те виды, которые обладают наибольшим умением объединяться и избегать состязания и борьбы, имеют и лучшие шансы на переживание и дальнейшее прогрессивное развитие. Такие виды процветают, в то время как виды, чуждые общительности, идут к упадку.

Очевидно, что человек являлся бы противоречием всему тому, что нам известно о природе, если бы он представлял исключение из того общего правила: если бы существо столь беззащитное, каким был человек на заре своего существования, нашло бы для себя защиту и путь к прогрессу не во взаимной помощи как другие животные, а в безрассудной борьбе из-за личных выгод, не обращающей никакого внимания на интересы всего вида. Для всякого ума, освоившегося с идеею о единстве природы, такое предположение покажется совершенно недопустимым. А между тем, несмотря на его невероятность и нелогичность, оно всегда находило сторонников. Всегда находились писатели, глядевшие на человечество, как пессимисты. Они знали человека, более или менее поверхностно, из своего личного ограниченного опыта, в истории они ограничивались знанием того, что рассказали нам летописцы, всегда обращавшие внимание, главным образом, на войны, на жестокости, на угнетение; и эти пессимисты приходили к заключению, что человечество представляет собою не что иное, как слабо связанное сообщество существ, всегда готовых

драться между собою, и лишь вмешательством какой-нибудь власти удерживаемых от всеобщей свалки.

Гоббс стоял на такой точке зрения; и хотя некоторые из его преемников в XVIII веке пытались доказать, что ни в какую пору своего существования, — даже в самом первобытном периоде — человечество не жило в состоянии непрерывной войны, что человек был существом общественным, даже в «естественном состоянии», и что скорее отсутствие знаний, чем природные скверные наклонности, довели человечество до всех ужасов, которыми отличалась его прошедшая историческая жизнь, — но многочисленные последователи Гоббса продолжали тем не менее утверждать, что так называемое «естественное состояние» было ни чем иным, как постоянной борьбой между индивидуумами, случайным образом столпившимися под импульсами их звериной природы. Правда, со времени Гоббса наука сделала кое-какие успехи, и теперь у нас под ногами более твёрдая почва, чем была во времена Гоббса, или Руссо. Но философия Гоббса по сию пору имеет достаточно поклонников, и в последнее время создалась целая школа писателей, которые, вооружившись не столько идеями Дарвина, сколько его терминологией, воспользовались последней для аргументации в пользу взглядов Гоббса на первобытного человека; им удалось даже придать этой аргументации какое-то подобие научной внешности. Гексли, как известно, стал во главе этой школы, и в статье, напечатанной в 1888 году, он изобразил первобытных людей чем-то в роде тигров или львов, лишённых каких бы то ни было этических понятий, не останавливающихся ни перед чем в борьбе за существование, — вся жизнь которых проходила в «постоянной драке». «За пределами ограниченных и временных семейных отношений, Гоббсовская война каждого против всех была, — говорил он, — нормальным состоянием их существования».[87]

Не раз уже замечено было, что главная ошибка Гоббса, а также и философов XVIII века, заключалась в том, что они представляли себе первобытный род людской в форме маленьких бродячих семей, наподобие «ограниченных и временных» семейств более крупных хищных животных. Между тем, теперь положительно установлено, что подобное предположение совершенно неверно. Конечно, у нас нет прямых фактов, свидетельствующих об образе жизни первых человекообразных существ. Даже время первого появления таких существ ещё в точности не установлено, так как современные геологи склонны видеть их следы уже в плиоценовых и даже в миоценовых отложениях третичного периода. Но мы имеем в своём распоряжении косвенный метод, который даёт нам возможность осветить до известной степени даже этот отдалённый период. Действительно, в течение последних сорока лет сделаны были очень тщательные исследования общественных учреждений у самых низших рас, и эти исследования раскрыли в теперешних учреждениях первобытных народов следы более древних учреждений, давно уже исчезнувших, но тем не менее оставивших несомненные признаки своего существования. Мало-помалу, целая наука, посвященная эмбриологии человеческих учреждений, была создана трудами Бахофена, Мак-Ленанна, Моргана, Эдуарда Б. Тейлора, Мэна, Поста, Ковалевского и мн. др. И эта наука установила теперь, вне всякого сомнения, что человечество начало свою жизнь не в форме небольших одиноких семей.

Семья не только не была первобытной формой организации, но, напротив, она является очень поздним продуктом эволюции человечества. Как бы далеко мы ни восходили в глубь

палеоэтнологии человечества, мы везде находим людей, живших тогда сообществами, группами, подобными стадам высших млекопитающих. Очень медленная и продолжительная эволюция потребовалась для того, чтобы довести эти сообщества до организации рода или клана, которая в свою очередь должна была подвергнуться другому, тоже очень продолжительному процессу эволюции, прежде чем могли появиться первые зародыши семьи, полигамной или моногамной. Сообщества, банды, роды, племена — а не семьи — были, таким образом, первобытной формой организации человечества и его древнейших прародителей. К такому выводу пришла этнология после тщательных кропотливых исследований. В сущности этот вывод могли бы предсказать зоологи, так как ни одно из высших млекопитающих, за исключением весьма немногих плотоядных и немногих, несомненно вымирающих, видов обезьян (орангутангов и горилл), не живёт маленькими семьями, изолированно бродящими по лесам. Все остальные живут сообществами. И Дарвин так прекрасно понял, что изолированно живущие обезьяны никогда не смогли бы развиться в человекоподобные существа, что он был склонен рассматривать человека происходящим от какого-нибудь сравнительно слабого, но непременно общительного вида обезьян, вроде шимпанзе, а не от более сильного, но необщительного вида, вроде гориллы.[88] Зоология и палеоэтнология приходят, таким образом, к одинаковому заключению, что древнейшей формой общественной жизни была группа, племя, а не семья. Первые человеческие сообщества просто были дальнейшим развитием тех сообществ, которые составляют самую сущность жизни высших животных.[89]

Если перейти теперь к положительным данным, то мы увидим, что самые ранние следы человека, относящиеся к ледниковому или раннему послеледниковому периоду, дают несомненные доказательства того, что человек уже тогда жил сообществами. Очень редко случается найти одинаковое каменное орудие, даже из древнейшего, палеолитического периода; напротив того, где бы ни находили одно или два кремневых орудия, там всегда находили вскоре и другие, почти всегда в очень больших количествах. Уже в те времена, когда люди жили ещё в пещерах, или укрывались под нависшими скалами, вместе с исчезнувшими с тех пор млекопитающими, и едва умели выделывать кремневые топоры самого грубого вида, они уже были знакомы с выгодами жизни сообществами. Во Франции, в долинах притоков Дордони, вся поверхность скал в некоторых местах покрыта пещерами, служившими убежищем палеолитическому человеку.[90] Иногда пещерные жилища расположены этажами и несомненно более напоминают гнёзда колоний ласточек, чем логовища хищных животных. Что же касается до кремневых орудий, найденных в этих пещерах, то, по выражению Леббока, «без преувеличения можно сказать, что они — бесчисленны». То же самое справедливо относительно всех других палеолитических стоянок. Судя по изысканиям Ларте, обитатели округа Ориньяк, в южной Франции, устраивали уже родовые пиры при погребении своих умерших. Таким образом, люди жили сообществами, и у них проявлялись зачатки родового религиозного обряда, уже в ту чрезвычайно отдаленную эпоху.

То же самое подтверждается, ещё с большим обилием доказательств, относительно позднейшего периода каменного века. Следы неолитического человека встречаются в таких громадных количествах, что по ним можно было, в значительной мере, восстановить весь его образ жизни. Когда ледяной покров (который должен был простираться от полярных

областей вплоть до середины Франции, Германии и России, и покрывал Канаду, а также значительную часть территории, занимаемой теперь Соединёнными Штатами) начал таять, то поверхности, освободившиеся от льда, покрылись сперва топями и болотами, а позднее — бесчисленными озёрами.[91] Озёра заполняли в ту пору все углубления и расширения в долинах, раньше чем воды промыли себе те постоянные русла, которые в последующую эпоху стали нашими реками. И, куда бы мы ни обратились теперь, в Европе, Азии или Америке, — мы находим, что берега бесчисленных озёр этого периода, — который по справедливости следовало бы назвать Озерным периодом — покрыты следами неолитического человека. Эти следы так многочисленны, что можно лишь удивляться густоте населения в ту эпоху. На террасах, которые теперь обозначают берега древних озёр, «стоянки» неолитического человека близко следуют одна за другой, и на каждой из них находят каменные орудия в таких количествах, что не остаётся ни малейшего сомнения в том, что в продолжение очень долгого времени эти места были обитаемы довольно многочисленными племенами людей. Целые мастерские кремневых орудий, которые, в свою очередь, свидетельствуют о количестве рабочих, собиравшихся в одном месте, были открыты археологами.

Следы более позднего периода, уже характеризующегося употреблением глиняных изделий, мы имеем в так называемых «кухонных отбросах» Дании. Как известно, эти кучи раковин от 5-ти до 10-ти футов толщиной, от 100 до 200 футов в ширину, и в 1000 и более футов в длину, так распространены в некоторых местах морского побережья Дании, что долгое время их считали естественными образованиями. А между тем они состоят «исключительно из таких материалов, которые так или иначе употреблялись человеком», и они до такой степени переполнены продуктами человеческого труда, что Леббок в течение всего лишь двухдневного пребывания в Мильгаарде нашёл 191 кусок каменных орудий и четыре обломка глиняных изделий.[92] Самые размеры и распространённость этих куч кухонных отбросов доказывают, что в течение многих и многих поколений по берегам Дании основались сотни небольших племён или родов, которые, без всякого сомнения, жили так же мирно между собою, как живут теперь обитатели берегов Огненной Земли, которые также набрасывают теперь подобные же кучи раковин и всяких отбросов.[93]

Что же касается до свайных построек Швейцарии, представляющих дальнейшую ступень на пути к цивилизации, они дают ещё лучшие доказательства того, что их обитатели жили обществами и работали сообща. Известно, что уже в каменном веке берега Швейцарских озёр были усеяны рядами деревень, состоявших каждая из нескольких хижин, построенных на платформе, поддерживаемой бесчисленными сваями, вбитыми в дно озера. Не менее двадцати четырёх деревень, из которых большинство принадлежало к каменному веку, было открыто за последние годы на берегах Женевского озера, тридцать две на Констанцском озере, сорок шесть на Нефшательском, и т. д.; и каждая из них свидетельствует о громадном количестве труда, выполненного сообща, — не семьей, а целым родом. Некоторые исследователи предполагают даже, что жизнь этих обитателей озёр была в замечательной степени свободна от воинственных столкновений; и предположение это весьма вероятно, если принять в соображение жизнь тех первобытных племён, которые теперь ещё живут в подобных же деревнях, построенных на сваях по берегам морей.

Мы видим, таким образом, даже из предыдущего краткого очерка, что, в конце концов, наши сведения о первобытном человеке вовсе не так скудны, и что они во всяком случае скорее опровергают, чем подтверждают, предположения Гоббса. Сверх того, они могут быть пополнены в значительной мере, если обратиться к прямому наблюдению таких первобытных племён, которые в настоящее время стоят ещё на том же уровне цивилизации, на каком стояли обитатели Европы в доисторические времена.

Что эти первобытные племена, которые существуют теперь, вовсе не представляют, — как утверждали некоторые ученые, — выродившихся племен, которые когда-то были знакомы с более высокой цивилизацией, но утратили её — уже было вполне доказано Эд. Б. Тэйлором и Дж. Лёббоком. Впрочем, к аргументам, приводившимся против теории вырождения, можно прибавить ещё нижеследующий. За исключением немногих племён, которые держатся в малодоступных горных странах, так называемые «дикари» занимают пояс, который окружает более или менее цивилизованные нации, преимущественно на тех оконечностях наших материков, которые, большею частью, сохраняли до сих пор, или же недавно ещё носили характер ранней поледниковой эпохи. Сюда принадлежат эскимосы и их сородичи в Гренландии, Арктической Америке и Северной Сибири, а в Южном полушарии — австралийские туземцы, папуасы, обитатели Огненной Земли, и, отчасти, бушмены; причём в пределах пространства, занятого более или менее цивилизованными народами, подобные первобытные племена встречаются только в Гималаях, в нагорьях юго-восточной Азии и на Бразильском плоскогории. Не должно забывать, при этом, что ледниковый период закончился не сразу на всей поверхности земного шара; он до сих пор продолжается в Гренландии. Вследствие этого, в ту пору, когда приморские области Индийского океана, Средиземного моря или Мексиканского залива уже пользовались более тёплым климатом, и в них развивалась более высокая цивилизация, — громадные территории в Средней Европе, Сибири и Северной Америке, а также Патагонии, в Южной Африке, Юго-восточной Азии и Австралии, оставались ещё в условиях раннего послеледникового периода, которые делали их необитаемыми для цивилизованных наций жаркого и умеренного пояса. В эту пору названные области представляли нечто вроде теперешних ужасных «урманов» северо-западной Сибири, и их население, недоступное для цивилизации и незатронутое ею, удерживало характер раннего послеледникового человека. Только позднее, когда высыхание сделало эти территории более пригодными для земледелия, стали они заселяться более цивилизованными пришельцами; и тогда часть прежних обитателей была ассимилирована новыми засельщиками, тогда как другая часть отступала всё дальше и дальше в направлении к приполярным странам и осела в тех местах, где мы теперь их находим. Территории, обитаемые ими в настоящее время, сохранили по сию пору, или до очень недавнего времени сохранили в физическом отношении, околледниковый характер; а искусства и орудия их обитателей до сих пор ещё не вышли из неолитического периода; и несмотря на расовые различия и на пространства, которые разделяют их друг от друга, образ жизни и общественные учреждения этих племён поразительно схожи между собою.

Мы можем, поэтому, рассматривать этих «дикарей», как остатки раннего послеледникового населения, занимавшего то, что теперь представляет цивилизованную область.

Первое, что поражает нас, как только мы начинаем изучать первобытные народы, это — сложность организации брачных отношений, под которою они живут. У большинства из них

семья, в том смысле, как мы её понимаем, существует только в зачаточном состоянии. Но в то же самое время «дикари» вовсе не представляют из себя «малосвязанных между собою скопищ мужчин и женщин, сходящихся беспорядочно, под влиянием минутных капризов». Все они подчиняются, напротив, известной организации, которую Льюис Морган описал в её типичных чертах и назвал «родовою» или клановою организацией.[94]

Излагая вкратце этот очень обширный предмет, мы можем сказать, что в настоящее время нет более сомнения в том, что человечество в начале своего существования прошло чрез стадию брачных отношений, которую можно назвать «коммунальным браком», то есть мужчины и женщины, целыми родами, жили между собою, как мужья с жёнами, обращая весьма мало внимания на кровное родство. Но несомненно также и то, что некоторые ограничения этих свободных отношений между полами были налагаемы уже в очень раннем периоде. Брачные отношения вскоре были запрещены между сыновьями одной матери и её сестрами, её внучками и её тётками. Позднее такие отношения были запрещены между сыновьями и дочерями одной и той же матери, а затем вскоре последовали и другие ограничения. Развилась мало-помалу идея рода (*gens*), который обнимал собою всех действительных или предполагаемых потомков от одного общего корня (скорее — всех, объединённых в одну родовую группу таким предполагаемым родством). А когда род размножился от подразделения на несколько родов, из которых каждый делился в свою очередь на классы (обыкновенно, на четыре класса), и брак разрешался лишь между, известными, точно определёнными классами. Подобную стадию можно наблюдать ещё теперь между туземцами Австралии, говорящими Камиларойским языком. Что же касается до семьи, то её первые зародыши появились в родовой организации. Женщина, которая была захвачена в плен во время войны с каким-нибудь другим родом, и прежде принадлежала бы целому роду, в более поздний период удерживалась за собой тем, кто взял её в плен, при соблюдении известных обязательств по отношению к роду. Она могла быть помещена им в отдельной хижине, после того как она заплатила известного рода дань роду, и, таким образом, могла основать в пределах рода отдельную семью, появление которой, очевидно, открывало собой новую фазу цивилизации. Но ни в каком случае жена, кланшая это основание патриархальной семье, не могла быть взята из своего рода. Она должна была происходить из чужого рода.

Если мы примем во внимание, что эта сложная организация развилась среди людей, стоявших на самой низшей из известных нам ступеней развития, и что она поддерживалась в сообществах, не знавших никакой другой власти, кроме власти общественного мнения, мы сразу поймём, как глубоко должны были корениться общественные инстинкты в человеческой природе, даже на самых низших ступенях её развития. Дикарь, который мог жить при такой организации, подчиняясь по собственной воле ограничениям, которые постоянно сталкивались с его личными пожеланиями, конечно, не был похож на зверя, лишённого каких бы то ни было этических принципов и не знающего узды для своих страстей. Но этот факт становится еще более поразительным, если принять во внимание неизмеримо отдалённую древность родовой организации.

В настоящее время известно, что первобытные семиты, Гомеровские греки, доисторические римляне, германцы Тацита, древние кельты и славяне, все прошли чрез период родовой организации, очень близко сходной с родовой организацией австралийцев, краснокожих

индейцев, эскимосов и других обитателей «пояса дикарей».[95]

Таким образом, мы должны допустить одно из двух: или эволюция брачных обычаев шла по каким-нибудь причинам в одном и том же направлении у всех человеческих рас, или же зачатки родовых ограничений развились среди некоторых общих предков, бывших родоначальниками семитов, арийцев, полинезийцев и т. д., прежде чем эти предки дифференцировались в отдельные расы, и что эти ограничения поддерживались вплоть до настоящего времени среди рас, давно уже отделившихся от общего корня. Обе альтернативы в равной степени указывают, однако, на поразительную устойчивость этого учреждения — такую устойчивость, которой не могли разрушить никакие посягательства на неё личности, в течение многих десятков тысячелетий. Но самая стойкость родовой организации показывает, насколько ложен тот взгляд, в силу которого первобытное человечество изображают в виде беспорядочного скопища индивидуумов, подчиняющихся одним лишь собственным страстям и пользующихся каждый своею личною силою и хитростью, чтобы одерживать верх над всеми другими. Необузданный индивидуализм — явление новейшего времени, но он вовсе не был свойствен первобытному человечеству.[96]

Переходя теперь к существующим в настоящее время дикарям, мы можем начать с бушменов, стоящих на очень низкой ступени развития — настолько низкой, что они не имеют даже жилищ и спят в норах, вырытых в земле, или просто под прикрытием лёгких щитов из трав и ветвей, защищающих их от ветра. Известно, что когда европейцы начали селиться на их территории и истребили громадные стада красного зверя, пасшиеся до того времени на равнинах, бушмены начали красть рогатый скот у поселенцев, — и тогда эти пришельцы начали против бушменов отчаянную войну и стали истреблять их со зверством, о котором я предпочитаю не рассказывать здесь. Пятьсот бушменов было истреблено, таким образом, в 1774 году; в 1808–1809 годах союз фермеров истребил их три тысячи, и т. д. Их отравляли, как крыс, выставляя отравленное мясо этим доведённым до голода людям, или пристреливали, как зверей, спрятавшись в засаде за трупом подброшенного животного; их убивали при всякой встрече.[97] Таким образом, наши сведения о бушменах, полученные в большинстве случаев от тех самых людей, которые истребляли их, не могут отличаться особенной дружелюбностью. Тем не менее, мы знаем, что, во время появления европейцев, бушмены жили небольшими родами, которые иногда соединялись в федерации; что они охотились сообща и делили между собою добычу без драки и ссор; что они никогда не бросали своих раненых и выказывали сильную привязанность к сотоварищам. Лихтенштейн рассказывает чрезвычайно трогательный эпизод об одном бушмене, который едва не потонул в реке и был спасён товарищами. Они сняли с себя свои звериные шкуры, чтобы прикрыть его, и сами дрожали от холода; они обсушили его, растирали, его пред огнём и смазывали его тело тёплым жиром, пока, наконец, не возвратили его к жизни. А когда бушмены нашли в лице Иогана Вандервальта человека, обращавшегося с ними хорошо, они выражали ему свою признательность проявлениями самой трогательной привязанности.[98] Бурчелль и Моффатт изображают их добросердечными, бескорыстными, верными своим обещаниям и благодарными,[99] — все качества, которые могли развиться, лишь будучи постоянно практикуемы в пределах рода. Что же касается до их любви к детям, то достаточно напомнить, что когда европеец хотел заполучить себе бушменку в рабство, он похищал её ребенка; мать всегда являлась сама и становилась рабыней, чтобы разделить участь своего дитяти.[100]

Та же самая общительность встречается у готтентотов, которые немногим превосходят бушменов по развитию. Лёббок говорит о них, как о самых «грязных животных», и они, действительно, очень грязны. Всё их одеяние состоит из повешенной на шею звериной шкуры, которую носят, пока она не распадётся в куски; а их хижины состоят из нескольких жердей, связанных концами и покрытых циновками, причём внутри хижин нет ровно никакой обстановки. Хотя они держат быков и овец и, кажется, были знакомы с употреблением железа, уже до встречи с европейцами, тем не менее они до сих пор стоят на одной из самых низких ступеней человеческого развития. И всё же европейцы, которые были близко знакомы с их жизнью, с великой похвалою отзывались об их общительности и готовности помогать друг другу. Если дать что-нибудь готтентоту, он тотчас же делит полученное между всеми присутствующими — обычай, который, как известно, поразил также Дарвина у обитателей Огненной Земли. Готтентот не может есть один, и как бы он ни был голоден, он подзывает прохожих и делится с ними своей пищей. И когда Кольбен выразил по этому поводу своё удивление, ему ответили: «таков обычай у готтентотов». Но этот обычай свойствен не одним готтентотам: это — почти повсеместный обычай, отмеченный путешественниками у всех «дикарей». Кольбен, хорошо знавший готтентотов и не обходивший молчанием их недостатков, не может нахвалиться их родовой нравственностью.

«Данное ими слово — для них священо», — пишет он. «Они совершенно незнакомы с испорченностью и вероломством Европы». «Они живут очень мирно и редко воюют со своими соседями». «Они полны мягкости и добродушия во взаимных отношениях... Одним из величайших удовольствий для готтентотов является обмен подарками и услугами», «По своей честности, по быстроте и точности отправления правосудия, по целомудрию, готтентоты превосходят все, или почти все, другие народы».[101]

Ташар (Tacharl), Барроу (Barrow) и Муди (Moodie)[102] вполне подтверждают слова Кольбена. Нужно только заметить, что когда Кольбен писал о готтентотах, что «во взаимных своих отношениях они — самый дружелюбный, самый щедрый и самый добродушный народ, какой когда-либо существовал на земле» (I, 332), — он дал определение, которое с тех пор постоянно повторяется путешественниками при описании самых разнообразных дикарей. Когда европейцы впервые сталкивались с какими-нибудь первобытными расами, они обыкновенно изображали их жизнь карикатурным образом; но стоило умному человеку прожить среди них более продолжительное время, и он уже описывал их как «самый кроткий» или «самый благородный» народ на земном шаре. Совершенно теми же самыми словами, самые достойные доверия путешественники характеризуют остяков, самоедов, эскимосов, даяков, алеутов, папуасов и т. д. Я также помню, что подобные же отзывы мне приходилось читать о тунгусах, о чукчах, об индейцах Ciy, и некоторых других племенах дикарей. Самое повторение подобной похвалы уже говорит нам больше, чем целые томы специальных исследований.

Туземцы Австралии стоят по развитию не выше своих южноафриканских братьев. Их хижины имеют тот же характер и очень часто они довольствуются даже простым щитом или ширмой из хвороста, для защиты от холодных ветров. В пище они не отличаются разборчивостью: в случае нужды они пожирают совершенно разложившуюся падаль, а когда случится голод, то иногда прибегают и к людоедству. Когда австралийские туземцы

впервые были открыты европейцами, то оказалось, что они не имели никаких других орудий, кроме сделанных самым грубым образом из камня или кости. Некоторые племена не имели даже лодок и были совершенно незнакомы с меновой торговлей. А между тем, после тщательного изучения их привычек и обычаев, оказалось, что у них существует та самая выработанная родовая организация, о которой говорилось выше.[103]

Территория, на которой они живут, обыкновенно бывает поделена между различными родами, но область, на которой каждый род производит охоту или рыбную ловлю, остается в общественном владении, и продукты охоты и ловли идут всему роду.[104] Роду же принадлежат орудия охоты и рыбной ловли. Еда происходит сообща. Подобно многим другим дикарям, австралийские туземцы держатся известных правил относительно сезонов, когда разрешается сбор различных видов камеди и трав.[105] Что же касается до их нравственности вообще, то лучше всего привести здесь следующие ответы, данные Лумгольцем, миссионером, жившим в Северном Квинсланде, на запросы Парижского Антропологического общества:[106]

«Чувство дружбы им знакомо; оно развито очень сильно. Слабые пользуются общественной помощью; за больными очень хорошо смотрят: их никогда не бросают на произвол судьбы и не убивают. Племена эти — людоеды, но они очень редко едят членов собственного племени (если не ошибаюсь — только тогда, когда убивают по религиозным мотивам); они едят только чужих. Родители любят своих детей, играют с ними и ласкают их. Детоубийство практикуется лишь с общего согласия. Со стариками обращаются очень хорошо и никогда не убивают их. У них нет ни религии, ни идолов, а существует только страх смерти. Брак — полигамический. Ссоры, возникающие в пределах рода, решаются путем дуэлей на деревянных мечях и с деревянными же щитами. Рабства не существует; обработки земли — никакой; глиняных изделий не имеется; одежды — нет, за исключением передника, носимого иногда женщинами. Род состоит из двух сот человек, разделенных на четыре класса мужчин и четыре класса женщин; брак допускается только между обычными классами, но никогда не в пределах самого рода».

Относительно папуасов, близкородственных австралийцам, мы имеем свидетельство Г. Л. Бинка, жившего в Новой Гвинее, преимущественно в Geellwinck Bay, с 1871 по 1883 г. Приводим сущность его ответов на те же вопросы.[107]

«Папуасы — общительны и весьма веселого нрава; они много смеются. Скорее робки, чем храбры. Дружба довольно сильна между членами разных родов, и еще сильнее в пределах одного и того же рода. Папуас часто выплатит долги своего друга, с условием, что последний уплатит этот долг, без процентов, его детям. За больными и стариками присматривают; стариков никогда не покидают и не убивают, — за исключением рабов, которые долго болели. Иногда съедают военнопленных. Детей очень ласкают и любят. Старых и слабых военнопленных убивают, а остальных продают в рабство. У них нет ни религии, ни богов, ни идолов, ни каких бы то ни было властей; старейший член семьи является судьей. В случае прелюбодеяния, (т. е. нарушения их брачных обычаев), виновник платит штраф, часть которого идет в пользу «негории» (общины). Земля состоит в общем владении, но плоды земли принадлежат тому, кто их вырастил. Папуасы имеют глиняную посуду и знакомы с меновой торговлей, причем, согласно выработавшемуся обычаю, купец

дает им товары, а они возвращаются по домам и приносят туземные произведения, в которых нуждается купец; если же они не могут добыть нужных произведений, то возвращают купцу его европейский товар.[108] Папуасы «охотятся за головами», т. е. практикуют кровавую месть. Впрочем, «иногда, — говорит Финш, — дело передается на рассмотрение Намототского раджи, который заканчивает дело наложением виры».

Когда с папуасами хорошо обращаются, то они очень добродушны. Миклухо-Маклай высадился, как известно, на восточном берегу Новой Гвинеи, в сопровождении лишь одного только матроса, прожил там целых два года среди племен, считавшихся людоедами, и с грустью расстался с ними; он обещал вернуться к ним, и сдержал слово, — и прожил снова год, причем, за все время у него не было с туземцами никакого столкновения. Правда, он держался правила, никогда — ни под каким предлогом — не говорить им неправды и не делать обещаний, которых он не мог выполнить. Эти бедные создания, не умеющие даже добывать огня и потому тщательно поддерживающие огонь в своих хижинах, живут в условиях первобытного коммунизма, не имея никаких начальников, и в их поселках почти никогда не бывает ссор, о которых стоило бы говорить. Они работают сообща — ровно столько, сколько нужно для добывания пищи на каждый день; они сообща воспитывают своих детей; а по вечерам наряжаются, как можно кокетливее, и предаются пляскам. Подобно всем дикарям, они страстно любят пляски, представляющие своего рода родовые мистерии. В каждой деревне имеется своя «барла» или «балай» — «длинный» или «большой» дом для холостых, в котором бывают общественные собрания и обсуждаются общественные дела — опять-таки черта общая почти всем обитателям островов Тихого океана, а также эскимосам, краснокожим индейцам и т. д. Целые группы деревень находятся в дружественных отношениях между собою и навещают друг друга целым обществом.

К несчастью, между деревнями нередко возникает вражда, — не из-за «излишней густоты населения», или «обостренного соревнования» и тому подобных измышлений нашего меркантильного века, а, главным образом, вследствие суеверий. Как только кто-нибудь заболел, собираются его друзья и родственники и тщательнейшим образом обсуждают вопрос, кто мог бы быть виновником болезни? При этом перебирают всех возможных врагов, каждый кается в самых мелких своих ссорах, и, наконец, — истинная причина болезни найдена. Ее наслал такой-то враг из соседней деревни — а потому решают произвести на эту деревню набег. Вследствие этого, ссоры обыкновенны, даже между береговыми деревнями, не говоря уже о живущих в горах людоедах, которых считают настоящими колдунами и врагами, — хотя при ближайшем знакомстве оказывается, что они ничем не отличаются от своих соседей, живущих по морскому побережью.[109]

Много поразительных страниц можно было бы написать о гармонии, господствующей в деревнях полинезийских обитателей на островах Тихого океана.

Но они стоят уже на несколько высшей ступени цивилизации, а потому мы возьмем дальнейшие примеры из жизни обитателей дальнего Севера. Прибавлю только, прежде чем покинуть южное полушарие, что даже обитатели Огненной Земли, пользовавшиеся такой плохой репутацией, начинают выступать в более благоприятном свете, по мере того, как мы лучше знакомимся с ними. Несколько французских миссионеров, живущих среди них, «не

могут пожаловаться ни на один враждебный поступок». Они живут родами, по 120-ти и 150-ти душ и также практикуют первобытный коммунизм, как и папуасы. Они все делят между собою и очень хорошо обращаются со стариками. Полный мир господствует между этими племенами.[110]

У эскимосов и их ближайших сородичей, тлинкетов, колошей и алеутов мы находим наиболее близкое подобие того, чем был человек во время ледникового периода. Употребляемые ими орудия едва отличаются от орудий древнего каменного века, и некоторые из этих племен до сих пор еще незнакомы с искусством рыбной ловли: они просто убивают рыбу острогой.[111] Они знакомы с употреблением железа, но добывают его только от европейцев, или же находят в остовах кораблей после крушения. Их общественная организация отличается полною первобытностью, хотя они уже и вышли из стадии «коммунального брака» даже с его «классовыми» ограничениями. Они живут уже семьями, но семейные узы еще слабы, так как по временам у них происходит обмен жен и мужей.[112] Семьи, однако, остаются объединенными в роды, — да иначе и быть не может. Как могли бы они выдержать тяжелую борьбу за существование, если бы не объединяли своих сил самым тесным образом? Так они и поступают, причем родовые узы всего теснее там, где борьба за жизнь наиболее тяжела, а именно — в северо-восточной Гренландии. Живут они обыкновенно в «длинном доме», в котором помещается несколько семейств, отделенных друг от друга небольшими перегородками из рваных мехов, но с общим для всех коридором. Иногда такой дом имеет форму креста и в таких случаях в центре его помещается общий очаг. Германская экспедиция, которая провела зиму возле одного из таких «длинных домов» могла убедиться, что за всю арктическую зиму «мир не был нарушен ни одною ссорой, и никаких споров не возникало из-за пользования этим тесным пространством». Выговор или даже недружелюбные слова не допускаются иначе, как в законной форме насмешливой песни (nith—song)[113], которую женщины поют хором. Таким образом, тесное сожительство и тесная взаимная зависимость достаточны для поддержания из века в век того глубокого уважения к интересам сообщества, которым отличается жизнь эскимосов. Даже в более обширных эскимосских общинах «общественное мнение является настоящим судебным учреждением, причем обычное наказание состоит в том, что провинившегося стыдят перед всеми».[114]

В основе жизни эскимосов лежит коммунизм. Все, добываемое путем охоты или рыбной ловли, принадлежит всему роду. Но у некоторых племен, особенно на Западе, под влиянием датчан, начинает слагаться частная собственность. Они, однако, употребляют довольно оригинальное средство, чтобы ослабить неудобства, возникающие из накопления богатства отдельными лицами, которое вскоре могло бы разрушить их родовое единство. Когда эскимос начинает сильно богатеть, он созывает всех своих сородичей на пиршество, и когда гости насытятся, он раздаривает им все свое богатство. На реке Юконе, в Аляске, Далль видел, как одна алеутская семья раздала таким образом десять ружей, десять полных меховых одежд, двести ниток бус, множество одеял, десять волчьих шкур, двести бобровых шкур и пятьсот горностаевых. Затем они сняли с себя свои праздничные одежды, отдали их и, одевшись в старые меха, обратились к своим сородичам с краткою речью, говоря, что хотя теперь они стали беднее каждого из гостей, зато они приобрели их дружбу.[115]

Подобные раздачи богатств стали, по-видимому, укоренившимся обычаем у эскимосов и практикуются в известную пору, каждый год, после предварительной выставки всего того, что было приобретено в течение года.[116] Они представляют по-видимому, очень древний обычай, возникший одновременно с первым появлением личного богатства, как средство восстановления равенства между сородичами, нарушавшегося обогащением отдельных лиц. Периодические переделы земель и периодическое прощение всех долгов, существовавшие в исторические времена у многих различных народов (семитов, арийцев и т. д.) были, вероятно, пережитком этого старинного обычая. Обычай погребения с покойником или уничтожения на его могиле всего его личного имущества, — который мы находим у всех первобытных рас, — должен, по-видимому, иметь то же самое происхождение. В самом деле, в то время как все принадлежавшее покойнику лично сжигается или же разбивается на его могиле, те вещи, которые принадлежали ему совместно со всем его родом, как, например, общинные лодки, сети и т. п. оставляются в целости. Уничтожению подлежит только личная собственность. В более позднюю эпоху этот обычай становится религиозным обрядом: ему дается мистическое толкование, и уничтожение предписывается религиею, когда общественное мнение, одно, оказывается уже не в силах настоять на обязательном для всех соблюдении обычая. И, наконец, действительное уничтожение заменяется символическим обрядом, т. е. — на могиле сжигают простые бумажные модели, или изображения имущества покойника (так делается в Китае), или же на могилу несут имущество покойника и приносят его обратно в дом по окончании погребальной церемонии; в этой форме обычай до сих пор сохранился, как известно, между европейцами, по отношению к мечам, крестам и другим знакам общественного отличия.[117]

О высоком уровне племенной нравственности эскимосов довольно часто упоминается в общей литературе. Тем не менее, следующие заметки о нравах алеутов, — близких сородичей эскимосов, — не лишены интереса, тем более, что они могут служить хорошим пояснением нравственности дикарей вообще. Они принадлежат перу чрезвычайно выдающегося человека, русского миссионера Вениаминова, который написал их после десятилетнего пребывания среди алеутов и тесного общения с ними. Я сокращаю их, удерживая по возможности собственные выражения автора.

Выносливость, — писал он, — их отличительная черта, и она, поистине, колоссальна. Они не только ходят купаться каждое утро в покрытое льдом море, и стоят затем, нагие на берегу, вдыхая морозный воздух, но их выносливость, даже при тяжелой работе и недостаточной пище, — превосходит все, что только можно вообразить. Если случится недостаток пищи, алеут прежде всего заботится о своих детях; он отдает им все, что имеет, а сам голодает. Они не склонны к воровству, как это уже было замечено первыми русскими пришельцами. Не то, чтобы они никогда не воровали; каждый алеут признается, что он когда-нибудь уворовал что-нибудь, но всегда это какой-нибудь пустяк, и все это носит совершенно ребяческий характер. Привязанность у родителей к детям очень трогательна, хотя она никогда не выражается в ласках или словами. Алеут с трудом решается дать какое-нибудь обещание, но, раз давши, он сдержит его во что бы то ни стало. (Один алеут подарил Вениаминову связку вяленой рыбы, но, при спешном отъезде, она была забыта на берегу, и алеут унес ее обратно домой. Случая отправить ее Вениаминову не представилось вплоть до января, а между тем, в ноябре и декабре среди этих алеутов была большая недостача съестных припасов. Но голодающие алеуты не дотронулись до подаренной уже рыбы, и в

январе она была послана по назначению). Их нравственный кодекс и разнообразен и суров. Так, например, считается постыдным: бояться неизбежной смерти; просить пощады у врага; умереть не убив ни одного врага; быть изобличенным в воровстве; опрокинуться с лодки в гавани; бояться выехать в море в бурную погоду; лишиться сил раньше других товарищей, если случится недостаток в пище во время длинного пути; обнаружить жадность во время дележа добычи, — причем, дабы устыдить такого жадного товарища, остальные отдают ему свои доли. Постыдным считается также: выболтать общественную тайну своей жене; будучи вдвоем на охоте, не предложить лучшую долю добычи товарищу; хвастать своими подвигами, а в особенности вымышленными; ругаться со злобою; также — просить милостыню; ласкать свою жену в присутствии других и танцевать с ней; торговаться самолично: продажа всегда должна быть сделана через третье лицо, которое и определяет цену. Для женщины считается постыдным: не уметь шить и вообще неумело исполнять всякого рода женские работы; не уметь танцевать; ласкать мужа и детей или даже говорить с мужем в присутствии посторонних.[118]

Такова нравственность алеутов, и дальнейшее подтверждение сказанного легко было бы заимствовать из их сказок и легенд. Прибавлю только, что когда Вениаминов писал свои «Записки» (в 1840 году), среди алеутов, — представлявших население в 60,000 человек, за шестьдесят лет совершено было только одно убийство, а за сорок лет, среди 1800 алеутов, не было совершено ни одного уголовного преступления. Это, впрочем, не покажется странным, если вспомнить, что всякого рода брань и грубые выражения абсолютно неизвестны в жизни алеутов. Даже их дети никогда не дерутся между собой и не оскорбляют друг друга словесно. Самым сильным выражением в их устах являются фразы вроде: «твоя мать не умеет шить» или «твой отец кривой».[119]

Многие черты в жизни дикарей остаются однако загадкой для европейцев. В подтверждение высокого развития родовой солидарности у дикарей и их добрых взаимных отношений можно было бы привести какое угодно количество самых достоверных показаний. А между тем, не менее достоверно и то, что те же самые дикари практикуют детоубийство, что они в некоторых случаях убивают своих стариков, и что все они слепо повинуются обычаю кровавой мести. Мы должны, поэтому, попытаться объяснить одновременное существование таких фактов, которые для европейского ума кажутся на первый взгляд совершенно несовместимыми.

Мы только что упомянули о том, как алеут будет голодать целыми днями и даже неделями, отдавая все съедобное своему ребенку; как мать-бушменка идет в рабство, чтобы не разлучаться со своим ребенком, и можно было бы заполнить целые страницы описанием действительно нежных отношений, существующих между дикарями и их детьми. У всех путешественников постоянно попадаются подобные факты. У одного вы читаете о нежной любви матери; у другого рассказывается об отце, который бешено мчит по лесу, неся на своих плечах ребенка, ужаленного змеей; или какой-нибудь миссионер повествует об отчаянии родителей при потере ребенка, которого он спас от принесения в жертву тотчас же после рождения; или же узнаете, что «дикарки» — матери обыкновенно кормят детей до четырехлетнего возраста, и что, на Ново-Гебридских островах, в случае смерти особенно любимого ребенка его мать или тетка убивают себя, чтобы ухаживать за своим любимцем на том свете,[120] и т. д., без конца.

Подобные факты упоминаются во множестве; а потому, когда мы видим, что те же самые любящие родители практикуют детоубийство, мы необходимо должны признать, что такой обычай (каковы бы ни были его позднейшие видоизменения) возник под прямым давлением необходимости, как результат чувства долга по отношению к роду и ради возможности выращивать уже подрастающих детей. Вообще говоря, дикари вовсе «не плодятся без меры», как выражаются некоторые английские писатели. Напротив, они принимают всякого рода меры для уменьшения рождаемости. Именно в этих видах существует у них целый ряд самых разнообразных ограничений, которые европейцам, несомненно, показались бы даже излишне стеснительными, и, тем не менее, строго соблюдаются дикарями. Но при всем том, первобытные народы не в силах выкармливать всех рождающихся детей, и тогда они прибегают к детоубийству. Впрочем, не раз было замечено, что как только им удастся увеличить свои обычные средства существования, они тотчас же перестают прибегать к этому средству; вообще родители очень неохотно подчиняются этому обычаю и при первой возможности прибегают ко всякого рода компромиссам, лишь бы сохранить жизнь своих новорожденных. Как уже было прекрасно указано моим другом Эли Реклю,[121] они выдумывают ради этого счастливые и несчастные дни рождения, чтобы пощадить хотя бы жизнь детей, рожденных в счастливые дни; они всячески пытаются отложить умерщвление на несколько часов и потом говорят, что если ребенок уже прожил сутки, ему суждено прожить всю жизнь.[122] Им слышатся крики маленьких детей, будто бы доносящиеся из леса, и они утверждают, что если послышится такой крик, он предвещает несчастье для целого рода; а так как у них нет ни специалистов по «производству ангелов», ни «яслей», которые помогали бы им отделяться от детей, то каждый из них содрогается перед необходимостью выполнить жестокий приговор, и потому они предпочитают выставить младенца в лес, чем отнять у него жизнь насильственным образом. Детоубийство поддерживается таким образом, недостатком знаний, а не жестокостью; и вместо пичканья дикарей проповедями, миссионеры сделали бы гораздо лучше, если бы последовали примеру Вениаминова, который ежегодно, до глубокой старости, переплывал Охотское море в плохонькой шхуне, для посещения тунгусов и камчадалов или же путешествовал на собаках среди чукчей, снабжая их хлебом и принадлежностями для охоты. Таким образом, ему действительно удалось совершенно вывести детоубийство.[123]

То же самое справедливо и по отношению к тому явлению, которое поверхностные наблюдатели называют отцеубийством. Мы только что видели, что обычай умерщвления стариков вовсе не так широко распространен, как это рассказывали некоторые писатели. Во всех этих рассказах много преувеличения; но несомненно, что такой обычай встречается, временно, почти у всех дикарей, и в таких случаях он объясняется теми же причинами, как и умерщвление детей. Когда старик «дикарь» начинает чувствовать, что он становится бременем для своего рода; когда каждое утро он видит, что достающуюся ему долю пищи отнимают у детей, — а малышки, ведь, не отличаются стоицизмом своих отцов и плачут, когда они голодны; когда каждый день молодым людям приходится нести его на своих плечах по каменистому побережью или через девственный лес, — у дикарей, ведь, нет ни кресел на колесах для больных, ни бедняков, чтобы возить такие кресла, — тогда старик начинает повторять то, что и до сих пор говорят старики-крестьяне в России: «Чужой век заедаю — пора на покой!» И он идет на покой. Он поступает так же, как в таких случаях поступает солдат. Когда спасение отряда зависит от его дальнейшего движения вперед, а солдат не может дальше идти и знает, что должен будет умереть, если останется позади,

он умоляет своего лучшего друга оказать ему последнюю услугу, прежде чем отряд двинется вперед. И друг дрожащими руками разряжает ружье в умирающее тело. Так поступают и дикари. Старик дикарь просит для себя смерти; он сам настаивает на выполнении этой последней своей обязанности по отношению к своему роду. Он получает сперва согласие своих сородичей на это. Тогда он сам роет для себя могилу и приглашает всех сородичей на последний прощальный пир. Так, в свое время, поступил его отец, — теперь его черед, и он дружественно прощается со всеми, прежде чем расстаться с ними. Дикарь до такой степени считает подобную смерть выполнением обязанности по отношению к своему роду, что он не только отказывается, чтобы его спасали от смерти (как это рассказывает Моффатт), но даже не признает такого избавления, если бы оно было совершено. Так, когда одна женщина, которая должна была умереть на могиле своего мужа, (в силу обряда, упомянутого раньше), была спасена от смерти миссионерами и увезена ими на остров, — она убежала от них ночью, переплыла широкий пролив и явилась к своему роду, чтобы умереть на могиле.[124] Смерть, в таких случаях, становится у них вопросом религии. Но, вообще говоря, дикарям настолько противно бывает проливать кровь, иначе, как в битве, что даже в этих случаях, ни один из них не возьмет на себя убийство, а потому они прибегают ко всякого рода окольным путям, которых европейцы не понимали и совершенно ложно истолковывали. В большинстве случаев, старика, решившегося умереть, оставляют в лесу, выделив ему более чем должную ему долю из общественного запаса. Сколько раз разведочным партиям в полярных экспедициях случалось поступать точно так же, когда они не в силах были более везти заболевшего товарища. «Вот тебе провизия. Проживи еще несколько дней! Быть может, откуда-нибудь придет неожиданная помощь!»

Западно-европейские ученые, встречаясь с такими фактами, оказываются решительно неспособными понять их; они не могут примирить их с фактами, свидетельствующими о высоком развитии родовой нравственности, и потому предпочитают набросить тень сомнения на абсолютно надежные наблюдения, касающиеся последней, вместо того, чтобы искать объяснения для совместного существования двоякого рода фактов: высокой родовой нравственности, и рядом с нею — убийства престарелых родителей и новорожденных детей. Но если бы те же самые европейцы, в свою очередь, рассказали дикарю, что люди чрезвычайно любезные, привязанные к своим детям и настолько впечатлительные, что они плачут, когда видят несчастье, изображаемое на сцене театра, живут в Европе бок о бок с такими лачугами, где дети мрут прямо-таки от недостатка пищи, — то дикарь тоже не понял бы их. Я помню, как тщетно я старался объяснить моим приятелям-тунгусам нашу цивилизацию, построенную на индивидуализме: они не понимали меня и прибегали к самым фантастическим догадкам. Дело в том, что дикарь, воспитанный в идеях родовой солидарности, практикуемой во всех случаях, худых и хороших, точно также не способен понять «нравственного» европейца, не имеющего никакого понятия о такой солидарности, как средний европеец не способен понять дикаря. Впрочем, если бы нашему ученому пришлось прожить среди полуголодного рода дикарей, у которых всей наличной пищи не хватило бы даже для прокормления одного человека на несколько дней, тогда он, может быть, понял бы, чем дикари руководятся в своих поступках. Равным образом, если бы дикарь пожил среди нас и получил наше «образование», он, может быть, понял бы наше европейское бездушие по отношению к ближним и наши Королевские комиссии, занимающиеся вопросом о предупреждении различных легальных форм детоубийства, практикуемых в Европе.[125] «В каменных домах сердца становятся каменные», — говорят

русские крестьяне, но дикарю все-таки пришлось бы пожить сперва в каменном доме.

Подобные же замечания можно бы было сделать и относительно людоедства. Если принять во внимание все факты, которые выяснились недавно, во время рассуждений об этом вопросе в Парижском Антропологическом Обществе, а также многие случайные заметки, разбросанные в литературе о «дикарях», мы обязаны будем признать, что людоедство было вызвано настоятельной необходимостью; и что только под влиянием предрассудков и религии оно развилось до тех ужасных размеров, каких оно достигло на островах Фиджи или в Мексике. Известно, что, вплоть до настоящего времени, многие дикари бывают вынуждены иногда питаться падалью почти совершенно разложившегося, а в случаях совершенного отсутствия пищи, некоторым из них приходилось разрывать могилы и питаться человеческими трупами, даже во время эпидемии. Такого рода факты вполне удостоверены. Но если мы перенесемся мысленно к условиям, которые приходилось переносить человеку во время ледникового периода, в сыром и холодном климате, не имея в своем распоряжении почти никакой растительной пищи; если примем в расчет страшные опустошения, производимые по сию пору цингой среди голодающих полудиких народов, и вспомним, что мясо и свежая кровь были единственными известными им укрепляющими средствами, мы должны будем допустить, что человек, который сперва был зерноядным животным, стал плотоядным во время ледникового века. Конечно, в то время, вероятно, было изобилие всякого зверя; но известно, что звери часто предпринимают большие переселения в арктических областях,[126] и иногда совершенно исчезают на несколько лет из данной территории. В таких случаях человек лишался последних средств пропитания. Мы знаем, далее, что даже европейцы, во время подобных тяжелых испытаний, прибегали к каннибализму: немудрено, что прибегали к нему и дикари. Вплоть до настоящего времени они, по временам, бывают вынуждены съесть трупы своих покойников, а в прежние времена они, в таких случаях, вынуждены были съесть и умирающих. Старики умирали тогда, убежденные, что своей смертью они оказывают последнюю услугу своему роду. Вот почему некоторые племена приписывают каннибализму божественное происхождение, представляя его, как нечто, внушенное повелением посланника с неба.

Позднее каннибализм потерял характер необходимости и обратился в суеверное «переживание». Врагов надо было съесть, чтобы унаследовать их храбрость; потом, в более позднюю эпоху, для той же цели съедалось уже одно только сердце врага, или его глаз. В то же время, среди других племен, у которых развилось многочисленное духовенство и выработалась сложная мифология, были придуманы злые боги, жаждущие человеческой крови, и жрецы требовали человеческих жертв для умилостивления богов. В этой религиозной фазе своего существования каннибализм достиг наиболее возмутительных своих форм. Мексика является хорошо известным в этом отношении примером, а на Фиджи, где король мог съесть любого из своих подданных, мы также находим могущественную касту жрецов, сложную теологию,[127] и полное развитие неограниченной власти королей. Таким образом, каннибализм, возникший в силу необходимости, сделался в более поздний период религиозным учреждением, и в этой форме он долго существовал, после того, как давно уже исчез среди племен, которые, несомненно, практиковали его в прежние времена, но не достигли теократической стадии развития. То же самое можно сказать относительно детоубийства и оставления на произвол судьбы престарелых родителей. В некоторых случаях эти явления также поддерживались

как пережиток старых времен, в виде религиозно хранимой традиции прошлого.

В заключение я упомяну еще об одном чрезвычайно важном и повсеместном обычае, который также дал повод в литературе к самым ошибочным заключениям. Я имею в виду обычаи кровавой мести. Все дикари убеждены, что пролитая кровь должна быть отомщена кровью. Если кто-нибудь был убит, то убийца тоже должен умереть; если кто-нибудь был ранен и пролита была его кровь, то кровь нанесшего рану тоже должна быть пролита. Никаких исключений из этого правила не допускается: оно распространяется даже на животных; если охотник пролил кровь — убивая медведя, или белку, — его кровь тоже должна быть пролита, по возвращении его с охоты. Таково понятие дикарей о справедливости — понятие, до сих пор удержавшееся в Западной Европе по отношению к убийству.

Покуда оскорбитель и оскорбленный принадлежат к тому же самому роду, дело решается очень просто: род и потерпевшее лицо сами решают дело.[128] Но когда преступник принадлежит к другому роду и этот род, по каким-либо причинам отказывается в удовлетворении, тогда оскорбленный род берет на себя отмщение. Первобытные люди смотрят на поступки каждого в отдельности, как на дело всего его рода, получившее одобрение рода, а потому они считают весь род ответственным за деяния каждого его члена. Вследствие этого отмщение может упасть на любого члена того рода, к которому принадлежит обидчик.[129] Но часто случается, что месть превзошла обиду. Имея в виду нанести только рану, мстители могли убить обидчика, или же ранить его тяжелее, чем предполагали; тогда получается новая обида другой стороны, которая требует от нее новой родовой мести; дело затягивается, таким образом, без конца. А потому первобытные законодатели очень старательно устанавливали точные границы возмездия: око за око, зуб за зуб и кровь за кровь.[130]

Замечательно, однако, что у большинства первобытных народов подобные случаи кровавой мести несравненно реже, чем можно было ожидать; хотя у некоторых из них они достигают совершенно ненормального развития, особенно среди горцев, загнанных в горы иноземными пришельцами, как, например, у горцев Кавказа и в особенности у даяков на Борнео. У даяков — по словам некоторых современных путешественников — дело дошло до того, что молодой человек не может ни жениться, ни быть объявленным совершеннолетним прежде, чем он принесет хоть одну голову врага. Так, по крайней мере, рассказывается, со всеми подробностями, в одной английской книге.[131] Оказывается, однако, что сведения, сообщаемые в этой книге, до крайности преувеличены. Во всяком случае, то, что англичане называют «охота за головами», представляется в совершенно ином свете, когда мы узнаем, что предполагаемый «охотник» вовсе не «охотится» и даже не руководится личным чувством мести. Он поступает сообразно тому, что считает нравственным обязательством по отношению к своему роду, а потому поступает точно также, как европейский судья, который подчиняясь тому же, очевидно, ложному началу: «кровь за кровь», отдает осужденного им убийцу в руки палача. Оба — и даяк и наш судья — испытали бы даже угрызения совести, если бы из чувства сострадания пощадили убийцу. Вот почему даяки, вне этой сферы убийств, совершаемых под влиянием их понятий о справедливости, оказываются, по единогласному свидетельству всех, кто хорошо познакомился с ними, чрезвычайно симпатичным народом. Сам Карл Бокк, который дал такую ужасную картину «охоты за

головами», пишет о них:

«Что касается до нравственности даяков, то я должен отвести им высокое место в ряду других народов... Грабежи и воровство совершенно неизвестны среди них. Они также отличаются большой правдивостью... Если я не всегда успевал добиться от них «всей правды», — все же я никогда не слышал от них ничего, кроме правды. К сожалению, нельзя сказать того же о малайцах» (стр. 209 и 210).

Свидетельство Бокка вполне подтверждается Идой Пфейффер. «Я вполне поняла» — писала она, — «что с удовольствием продолжала бы путешествовать среди них. Я обыкновенно находила их честными, добрыми и скромными... в гораздо большей степени, чем какой-либо из других, известных мне, народов».[132] Штольце, говоря о даяках, употребляет почти те же самые выражения. Даяки обыкновенно имеют по одной только жене и хорошо обращаются с нею. Они очень общительны и каждое утро весь род отправляется большими партиями на рыбную ловлю, на охоту или на огородные работы. Их деревни состоят из больших хижин, в каждой из которых помещается около дюжины семейств, а иногда и несколько сот человек, причем все они живут между собою очень миролюбиво. Они с большим уважением относятся к своим женам и очень любят своих детей; когда кто-нибудь заболевает — женщины ухаживают за ним поочередно. Вообще, они очень умеренны в пище и питье. Таковы даяки в своей действительной повседневной жизни.

Приводить дальнейшие примеры из жизни дикарей, значило бы только повторять, еще и еще, то что уже сказано. Куда бы мы ни обратились, ведь мы находим те же общительные нравы, тот же мирской дух. И когда мы пытаемся проникнуть во мрак былых веков, мы видим в них ту же родовую жизнь и те же, хотя бы и очень первобытные, союзы людей для взаимной поддержки. Поэтому Дарвин был совершенно прав, когда видел в общественных качествах человека главную деятельную силу его дальнейшего развития, а вульгаризаторы Дарвина совершенно не правы, когда утверждают противное.

«Сравнительная слабость человека и малая быстрота его движений, — писал он, — а также недостаточность его природного вооружения и т. д., более чем уравновешивались, — во-первых его умственными способностями (которые, как заметил Дарвин в другом месте, развивались, главным образом, или даже исключительно, в интересах общества); и во-вторых, его общественными качествами, в силу которых он подавал помощь своим собратьям людям и получал ее от них».[133]

В восемнадцатом веке было в ходу идеализировать «дикарей» и жизнь «в естественном состоянии». Теперь же люди науки впали в противоположную крайность, в особенности с тех пор, как некоторые из них, стремясь доказать животное происхождение человека, но не будучи знакомы с общественностью животных, начали обвинять дикаря во всевозможных воображаемых «скотских» наклонностях. Очевидно однако, что такое преувеличение еще более ненаучно, чем идеализация Руссо. Первобытный человек не может считаться ни идеалом добродетели, ни идеалом «дикости». Но у него есть одно качество, выработанное в нем и укрепленное самыми условиями его тяжелой борьбы за существования; он отождествляет свое собственное существование с жизнью своего рода; и без этого качества человечество никогда не достигло бы того уровня, на котором оно находится теперь.

Первобытные люди, как мы уже сказали выше, до такой степени отождествляют свою жизнь с жизнью своего рода, что каждый из их поступков, как бы он ни был незначителен сам по себе, рассматривается как дело всего рода. Все их поведение управляется целым бесконечным рядом устных правил благопристойности, которые являются плодом их общего опыта относительно того, что следует считать добром или злом — т. е., что полезно или вредно для их собственного рода. Конечно, умозаключения, на которых основаны их правила благопристойности, бывают иногда чрезвычайно нелепы. Многие из них имеют свое начало в суевериях. Вообще, что бы дикарь ни делал, он видит одни только ближайшие последствия своих поступков; он не может предвидеть их косвенные и более отдаленные последствия, но в этом он только усиливает ошибку, в которой Бентам упрекал цивилизованных законодателей. Мы можем находить обычное право дикарей нелепым, но они подчиняются его предписаниям, как бы они ни были для них стеснительными. Они подчиняются им даже более слепо, чем цивилизованный человек подчиняется предписаниям своих законов. Обычное право дикаря — это его религия; это — самое свойство его жизни. Мысль о роде всегда присутствует в его уме; а потому самоограничение и самопожертвование в интересах рода — самое обыденное явление. Если дикарь нарушил которое-нибудь из мелких правил, установленных его родом, женщины преследуют его своими насмешками. Если же нарушение имеет более серьезный характер, тогда его день и ночь мучит страх, что он накликал несчастье на весь род, пока род не снимет с него его вины. Если дикарь случайно ранил кого-нибудь из своего собственного рода и, таким образом, совершил величайшее из преступлений, он становится совершенно несчастным человеком: он убегает в леса и готов покончить с собой, если род не снимет с него вину, причинивши ему какую-нибудь физическую боль, или проливши некоторое количество его собственной крови.[134] В пределах рода все делится сообща; каждый кусок пищи разделяется между всеми присутствующими; даже, если дикарь находится один в лесу, он не начнёт есть, не прокричав трижды приглашения всякому, кто может его услышать и пожелает разделить с ним пищу.[135]

Короче говоря, в пределах рода, правило: «каждый за всех» царствует, безусловно, до тех пор, пока возникновение отдельной семьи не начнет разрушать родового единства. Но это правило не распространяется на соседние роды или племена, даже если они вступили в союз для взаимной защиты. Каждое племя или род представляет отдельную единицу. Как у млекопитающих и у птиц, территория не остается нераздельной, а распределяется между отдельными семьями, так и у них она распределяется между отдельными племенами, и, за исключением военного времени, эти границы свято соблюдаются. Вступая на территорию соседей, каждый должен показать, что он не имеет дурных намерений и чем громче он возвещает о своем приближении, тем более он пользуется доверием; если же он входит в дом, то должен оставить свой топор у входа. Но ни один род не обязан делиться своей пищей с другими родами: он волен делиться, или нет. Вследствие этого, вся жизнь первобытного человека распадается на два рода отношений, и ее следует рассматривать с двух различных этических точек зрения: отношения в пределах рода и отношения вне его; причем (подобно нашему международному праву) «междуродовое» право сильно отличается от обычного родового права. Вследствие этого, когда дело доходит до войны между двумя племенами, самые возмутительные жестокости по отношению к врагам могут рассматриваться, как нечто заслуживающее высокой похвалы. Такое двойственное понимание нравственности проходит, впрочем, чрез всю эволюцию человечества, и оно

